

Риего казнен. Во всей Европе — «От Тибровых валов до Вислы и Невы, от Саркосельских лип до башен Гибралтара» воцарилась жестокая реакция: «Все пало — под ярем склонились все главы» («Недвижный страж дремал», 1824).

Столь тяжелого удара Пушкин еще не испытывал. Это было крушением не только его политического романтизма, но и всего, во что он верил, на что надеялся, что любил, — романтического его мировосприятия и мироотношения вообще. Все, что делал он словом поэта для победы народов, оказалось никчемным («потерял я только время, благие мысли и труды... Паситесь, мирные народы, Вас не пробудит чести клич»). Оставшийся и политически и морально одиноким в своем ссылочном Кишиневе, поэт впал в мрачное отчаяние, так резко сказавшееся в написанных почти одновременно стихах о сеятеле («Свободы сеятель пустынный») и «Демоне».

Но, чем мрачнее и, казалось, безысходнее был этот болезненнейший кризис, тем замечательней стал могучий взлет вырвавшегося из своего «демонического» всеотрицания пушкинского гения и стремительнейший — на уже полностью распахнувшихся именно теперь орлиных крыльях поэта — полет его к тем высотам художественного видения мира, на уровне которых были созданы такие величайшие творения мирового искусства слова, как драматургия Шекспира, как «Фауст» Гёте. В пору написания «Демона» и «Сеятеля» Пушкин приступает к осуществлению того, что сам позднее назовет своим литературным «подвигом» — начинает создавать роман в стихах, задачей которого было не только художественно воссоздать свою современность, но и понять ее, разобраться в причинах того, что произошло и происходит. И в «полусмешных, полупечальных» главах «Евгения Онегина» Пушкин, набрасывая необыкновенно живые и поэтически грациозные картины жизни реальной, но и постиг философию эпохи, проник в сформировавшийся в условиях поверженной революции и наступившего «века торгаша» духовный мир европейского «современного человека», характерными элементами которого были наполеоновская «жажда власти» («Мы все глядим в Наполеоны») и «безнадежный эгоизм» героев другого, наряду с Наполеоном, «властителя дум» современности, Байрона. «Ты для себя лишь хочешь воли...» — эти поразительные по своей четкости и глубине проникновения в сущность буржуазной революционности слова вложит в уста народа поэт во вскоре написанных «Цыганах». Во всем этом выражение уже совсем иного взгляда на отношение между «героем» и «народом», чем то, которое так горько прозвучало в «Сеятеле». Непосредственно темы декабризма в восьми главах романа словно бы и нет, но в него вошел весь тот круг проблем, который затрагивался и в разговоре Пушкина с Пестелем и в кишиневских спорах с членами тайного общества. А обоих главных героев поэт и прямо ощущал потенциальными декабристами. Ленский «мог быть повешен как Рылеев»; Онегин по замыслу автора, подтверждаемому фрагментами 10-й главы, в конечном счете вошел бы в ряды декабристов. Ведь согласно законам романного жанра, Пушкиным «самим над собою признанным», «Онегин» не мог продолжаться без фавулы и без главного героя.

При разгроме кишиневской ячейки Пушкина не тронули, но перевели в другое место, в Одессу. А вскоре, решив, по наветам Воронцова и несколькими атеистическим строкам перехваченного пушкинского письма, устранить его «опасное» влияние на общество, в особенности на молодежь, царь заслал поэта в Михайловское под двойной надзор — местных и церковных властей.

Известно, как драматически сложились поначалу его отношения с отцом, который опростетчиво взял на себя функции надзора за сыном. Но все это было ничто по сравнению с тем продолжающимся творческим подъемом, который он испытывал, работая над романом и приступая к параллельному свершению своего второго литературного «подвига» — созданию «Бориса Годунова». «Я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития. Я могу творить», — писал он другу (XIII, 542).